

Используя образные параллели и переклички с текстами Пушкина, Достоевский ставит в своей повести ряд проблем: соотношение счастья и долга, чувства и разума, восприятия и осмысления жизни через литературу, через подмену реального мира воображаемым. Образ Зинаиды Москалевой, на наш взгляд, вполне вписывается в ряд загадочных «красавиц-гордячек» Достоевского.

А А. ГОНСАЛЕС

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РЕАЛИЗМ ДОСТОЕВСКОГО

Образ «чужака» в «Записках из Мертвого дома»

Тема данного исследования возникла под влиянием идеи М. М. Бахтина из его знаменитой книги «Проблемы поэтики Достоевского»: «Сознание у Достоевского никогда не довлеет себе, но находится в напряженном отношении к другому сознанию. Каждое переживание, каждая мысль героя внутренне диалогичны, полемически окрашены, полны противоборства или, наоборот, открыты чужому наитию, во всяком случае, не сосредоточены просто на своем предмете, но сопровождаются вечной оглядкой на другого человека. Можно сказать, что Достоевский в художественной форме дает как бы социологию сознаний, правда, лишь в плоскости сосуществования. Но, несмотря на это, Достоевский, как художник, подымается до объективного видения жизни сознаний и форм их живого сосуществования и потому дает ценный материал для социолога».¹

Остановимся на этой мысли М. М. Бахтина. Он считает, что социология как наука может найти в творчестве Достоевского плодородную почву для своих теоретических исследований. Безусловно, можно понимать эти слова не иначе, как «приглашение» социологов к обсуждению вопросов, связанных с поэтикой художественного текста. Однако надо признать, что это «приглашение» вызывает целый ряд споров со стороны социологов, даже настоящую полемику.

Прежде всего возникает вопрос: какое же именно направление социологии может заинтересоваться творчеством Достоевского? Потому что, говоря о социологии, необходимо понимать, что такое социология как наука, что и как она изучает, какие методы использует, на какие явления обращает внимание. Данная статья не ставит цель разъяснить эту объемную тему, поэтому скажем только: тот способ

¹ М. М. Бахтин Проблемы поэтики Достоевского М, 1972 С. 40—41

социологического изучения человека, общества и взаимодействия между людьми, который можно было бы найти в произведениях Достоевского как какой-нибудь схожий подход, *не существовал при жизни писателя*. Рассмотрим этот вопрос чуть глубже

Социология как таковая, как независимая наука появилась во второй половине XIX в в самый разгар позитивизма. В этот период на первый план выходят такие естественные науки, как химия и биология. Наиболее значительным открытием того времени является создание Ч. Дарвином теории эволюции видов. Для К. Маркса и Ф. Энгельса эта теория послужила естественнонаучной предпосылкой для создания диалектического материализма, главным элементом которого является учение о диалектике — «алгебре революции», как ее называл В. И. Ленин. Для О. Конта, Г. Спенсера и Э. Дюркгейма эти открытия стали базой для создания учения об обществе, основанном на принципах биологии, — «органической теории развития общества». Поэтому ни социология Огюста Конта и ее продолжение в эволюционной теории Герберта Спенсера, ни социология Эмиля Дюркгейма, задачей которой он считал раскрывать и изучать социальные факты и явления как вещи, ни материалистическое понимание истории и общества Карла Маркса и Фридриха Энгельса не испытывали необходимости прибегать к Достоевскому для разъяснения общественной деятельности. Скорее всего, все эти социологические учения нашли бы применение в натуралистической программе Эмиля Золя.

Достоевский опередил свое время в понимании человека. То, что Бахтин нашел в Достоевском, могло заинтересовать социологию только несколько десятилетий спустя.

Георг Зиммель был первым социологом, обратившим внимание на то, что общество существует прежде всего *в сознании* действующих индивидов и анализ социального должен проводиться как рефлексия над этой мыслимой реальностью. Зиммель отвергал в качестве предмета социологического знания такие понятия, как «общество», «народ», «человечество», «коллективное» и т. д. В своем эссе «Как возможно общество?»², где он анализирует постулаты Канта, связанные с познанием природы, Зиммель говорит: «Решающее отличие единства общества от единства природы состоит в следующем: единство природы — с предполагаемой здесь кантовской точки зрения — осуществляется исключительно в наблюдающем субъекте, производится только им среди элементов, которые сами по себе не связаны, и из их числа. Напротив, общественное единство реализуется только своими собственными элементами, ибо они *сознательны*, синтетически активны, и оно не нуждается ни в каком наблюдателе» (курсив мой — А. Г.)²

² Зиммель Г. Избранное. М., 1996. Т. 2. С. 509.

Зиммель считал, что предметом исследования социолога может быть только индивид, поскольку именно он обладает сознанием, его действия имеют мотивацию, его поведение рационально. Он подчеркивал важность понимания социологом субъективного смысла, который вкладывается в действие самим действующим индивидом. По его мнению, наблюдая цепочку реальных действий людей, социолог должен сконструировать их объяснение на основе понимания внутренних мотивов этих действий.³

Безусловно, влияние Георга Зиммеля на современников было огромно: так, Мартин Хайдеггер, Георг Лукач и многие другие признавали его. Вместе с Максом Шелером Зиммель был одним из самых влиятельных мыслителей неокантианства начала XX в. И Михаил Бахтин в свою очередь тоже попал под его влияние. Известно, что он читал работу Зиммеля о Гете (1913) и что в ней он нашел аргументы, чтобы противопоставить понятия о времени в произведениях Гете и в произведениях Достоевского.

Итак, социологическая теория Зиммеля является первой, с позиций которой можно раскрыть значение творчества Достоевского для познания человека и общества. До этого социологический подход к творчеству писателя не мог пролить свет ни на поэтические принципы его произведений ни, следовательно, на суть его миропонимания. Не случайно Белинский считал роман «Бедные люди» социальным романом, не случайно он не понял и «Двойника». Это объясняет и то, почему современники не смогли понять «Записки из подполья», а марксистская критика, например, видела в Раскольникове лишь жертву социальной системы, в то время как этот взгляд как раз входит в сюжет «Преступления и наказания» и сам Раскольников отрицает его.

Настоящая статья является попыткой применения социологических типов, изученных Зиммелем, к произведениям Достоевского. И это, например, вопрос о чужаке. Что такое чужак? Чужак — это странник, который приходит извне. Чужак, говорит Зиммель в своем знаменитом «Экскурсе о чужаке», это не тот, кто приходит сегодня, чтобы уйти завтра. Он приходит сегодня, чтобы остаться на завтра.

³ «Возможно, лучше называть это знанием, а не познанием. Ибо субъект не противостоит здесь объекту, теоретическую картину которого он бы постепенно составлял: напротив, сознание обобществления непосредственно есть носитель или внутреннее значение обобществления. Речь идет о процессах взаимодействия, означающих для индивида — хотя и не абстрактный, но могущий быть абстрактно выраженным — факт обобществленности. Какие формы должны быть здесь основополагающими, иначе говоря, какие категории человек должен как бы привнести, чтобы возникло это сознание, и каковы формы, носителем которых приходится быть возникшему сознанию (общество как факт знания), — все это можно, пожалуй, назвать теорией познания общества» (Там же. С. 512—513).

Но, оставаясь, он продолжает быть чужаком. Что происходит в таком случае? Как чужаку быть в другой социальной среде?

Когда чужак вступает в новую группу, культурный образец родной группы все еще продолжает оставаться для него результатом непрерывного исторического развития и элементом его личной биографии. Следовательно, чужак естественным образом начинает интерпретировать новую социальную среду в категориях своего привычного мышления. В схеме соотнесения, унаследованной от родной группы, он находит готовые и предположительно надежные представления об образце чужой группы, однако в скором времени эти представления неизбежно оказываются неадекватными.

Я считаю, что мы находим яркий пример этого в «Записках из Мертвого дома». Более того, я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что именно это изменение представлений является одним из главных мотивов «Записок из Мертвого дома». Сюжет этого произведения состоит не в том, чтобы просто показать жизнь в остроге, а в том, чтобы изобразить самый процесс познания незнакомого рассказчику мира и вместе с тем поставить вопрос о возможности и способности русской интеллигенции познать народ. Интересная деталь: когда в России уже начиналась эпоха резких перемен, когда новое поколение интеллигентов начало выдвигать новые лозунги, связанные с тем, что пора познать народ и объяснить ему, каковы именно его интересы, Достоевский мыслит как настоящий социолог и в художественной форме задает вопрос о *самой возможности* отношений между народом и интеллигенцией. Для него народ является не предметом изучения, а живым социальным и биографическим опытом.

Посмотрим подробнее, какие изменения происходят в представлениях чужака. Для этого возьмем также дальнейшее развитие вопроса о «чужаке» в социологии австрийского философа и социолога Альфреда Шюца, который ввел в эту науку — под влиянием Гуссерля — феноменологический подход. Его авторству принадлежит эссе под названием «Чужак» (1944), где он признает, между прочим, вдохновляющий характер работы Зиммеля по этой теме.

Во-первых, по словам Шюца,⁴ представления о культурном образце неродной группы, которые чужак находит в схеме интерпретации

⁴ Альфред Шюц, развивая понятие о чужаке (1944), устанавливает четыре допущения, на которых основывается такое привычное мышление

«1 что жизнь, особенно социальная жизнь, будет продолжать оставаться такой же, какой она была до сих пор,

2 что мы можем полагаться на знание, переданное нам нашими родителями, учителями, властями, традициями, привычками и т.д., даже если не понимаем его происхождения и реального значения,

3 что в обыденном течении дел достаточно знать об общем типе, или стиле событий, с которыми мы можем столкнуться в нашем жизненном мире, чтобы справляться с ними или удерживать их под своим контролем, и

его родной группы, проистекают из установки незаинтересованного наблюдателя. Но когда чужак сближается с неродной группой, он должен превратиться из беззаботного стороннего наблюдателя в потенциального ее члена. Таким образом, культурный образец неродной группы перестает быть лишь только содержанием его мышления и превращается в сегмент мира, которым он должен овладеть своими действиями. Так пишет рассказчик «Записок из Мертвого дома»: «Я чувствовал и понимал, что вся эта среда для меня совершенно новая, что я в совершенных потемках, а что в потемках нельзя прожить столько лет. Следовало приготовиться. Разумеется, я решил, что прежде всего надо поступать прямо, как внутреннее чувство и совесть велют. Но я знал тоже, что ведь это только афоризм, а передо мной все-таки явится самая неожиданная практика» (4, 68—69).

Во-вторых, новый культурный образец приобретает характер окружающей среды, окружающего мира. Из далекого он становится близким; его ненаполненные структуры наполняются живыми переживаниями; его анонимные содержания превращаются в конкретные социальные ситуации; его готовые типологии распадаются. Горянчиков говорит: «Все это моя среда, мой теперешний мир, — думал я, — с которым, хочу не хочу, а должен жить...» (4, 69).

В-третьих, готовая картина посторонней группы, существующая в родной группе чужака, обнаруживает свою неадекватность для сближающегося с этой неродной группой чужака по той простой причине, что ее создавали не для того, чтобы побудить членов посторонней группы к какому-то отклику или чтобы вызвать с их стороны какую-то реакцию. Знание, которое эта картина предлагает, служит лишь подручной схемой интерпретации чужой группы, но никак не руководством для взаимодействия между этими двумя группами. И вот чужак, сближаясь с неродной группой, осознает тот факт, что важный элемент его «привычного мышления» не выдерживает проверки в живом опыте и социальном взаимодействии.

Чужак обнаруживает, что в новом окружении все выглядит совершенно иначе, нежели он ожидал, когда находился дома, и это наносит первый удар по его уверенности в надежности его привычки «мыслить как обычно». Обесценивается не только картина, которую чужак ранее сформировал о культурном образце неродной группы, но и вся до сих пор не ставившаяся под сомнение схема интерпретации, имеющая хождение в его родной группе. В новом социальном окружении ею невозможно воспользоваться как схемой ориентации.

4 что ни системы рецептов, служащие схемами интерпретации и самовыражения, ни лежащие в их основе базисные допущения, только что нами упомянутые, не являются нашим частным делом, а принимаются и применяются аналогичным образом нашими братьями» (*Щюц А Избранное Мир, светящийся смыслом М, 1998 С 538*)

Именно так и начинаются «Записки из Мертвого дома». Горяничков пишет: «Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного, или, лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю неожиданность такого существования и все более и более дивился на него» (4, 19).

Более того, структура книги отражает стадии процесса познания нового мира. Название каждой главы показывает сам процесс восприятия этого нового мира, в котором оказался рассказчик. Сначала просто «Мертвый дом»: рассказчик, только что приехавший туда, не может обрисовать, выделить частное в общем. Только «Мертвый дом», и все. Мы говорим: иначе и быть не может. У него пока нет ни временных, ни пространственных критериев, при помощи которых он мог бы оценить это новое социальное пространство. Все, что рассказчик может описать, это просто здания острога, казармы, кухня и т. д. Что касается арестантов, то он останавливается лишь на их костюмах, стрижках, кандалах, но не может вникнуть в смысл, заключенный в этом мире, вернее, не может вникнуть в смысл, который арестанты придают каждому своему действию.

Потом следуют три главы под заглавием «Первые впечатления». В этих главах Александр Петрович начинает понимать свою новую социальную среду и одновременно начинает осознавать свое положение в ней, а именно, он осознает свое отчуждение: «Несмотря на то, что те уже лишены всех своих прав состояния и вполне сравнены с остальными арестантами, — арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубеждению, а так, совершенно искренно, бессознательно» (4, 26).

Другой дворянин, т. е. член его социальной группы, объясняет это общими категориями: «Да-с, дворян они не любят, — заметил он, — особенно политических, съест рады; немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них непохожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с?» (4, 28).⁵

⁵ Зиммель пишет в своем эссе «Человек как враг»: «...чужому, с кем не объединяют ни общие качества, ни интересы, люди противостоят объективно, пряча личность в скорлупу сдержанности, поэтому отдельное различие не так легко становится доминантой человека. С абсолютно чужими соприкасаются лишь в тех точках, где возможны отдельные переговоры или совпадение интересов» (Зиммель Г. Избранное. С. 506).

Следующие две главы, названные «Первый месяц», весьма интересны описанием того, как рассказчик-чужак начинает испытывать кризис своего «привычного мышления»: «Вот почему с первого взгляда каторга и не могла мне представиться в том настоящем виде, как представилась впоследствии. Вот почему я и сказал, что если и смотрел на всё с таким жадным, усиленным вниманием, то все-таки не мог разглядеть много такого, что у меня было под самым носом. Естественно, меня поражали сначала явления крупные, резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжелое, безнадежно грустное впечатление» (4, 62); «Я был удивлен и смущен, точно и не подозревал прежде ничего этого и не слышал ни о чем, хотя и знал, и слышал. Но действительность производит совсем другое впечатление, чем знание и слухи» (4, 65).

Только тогда, когда предыдущие предрассудки оказываются несостоятельными в новой среде, только после того, как рассказчик-чужак начинает усваивать новые аспекты восприятия, он может общаться и знакомиться с новыми людьми: «Но время шло, и я мало-помалу стал обживаться. С каждым днем все менее и менее смущали меня обыденные явления моей новой жизни. Происшествия, обстановка, люди — всё как-то примелькалось к глазам. Примириться с этой жизнью было невозможно, но признать ее за совершившийся факт давно пора было. (...) По острогу я уже расхаживал как у себя дома, знал свое место на нарах и даже, по-видимому, привык к таким вещам, к которым думал и в жизнь не привыкнуть» (4, 78).

Так и появляются Петров, Лука Кузьмич, Исай Фомич и т. д. Дальше рассказчик-чужак начинает принимать участие, скажем так, в «социальной жизни» острога: баня, Рождество, представление. Здесь обнаруживается первая положительная черта этого народа: «Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков — и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Не многому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться» (4, 121—122).

Во многих моментах второй части книги мы видим, как сам рассказчик признает необоснованность своих предрассудков по отношению к каторжной жизни и арестантам: «В этот первый год от этой тоски я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться. Среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших людей, людей способных и мыслить, и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между язвительными словами я иногда не замечал приветливого и ласкового слова, которое тем дороже было, что выговаривалось безо всяких видов, а нередко прямо

из души, может быть более меня пострадавшей и вынесшей» (4, 178—179)

Он анализирует свой процесс адаптации «Я уже говорил прежде, что я наконец освоился с моим положением в остроге. Но это „наконец“ совершалось очень туго и мучительно, слишком мало-помалу. В сущности мне надо было почти год времени для этого, и это был самый трудный год моей жизни. Оттого-то он так весь, целиком, и уложился в моей памяти» (4, 195) «Но как уже и упоминал я отчасти, я не мог и даже не умел проникнуть во внутреннюю глубину этой жизни в начале моего острога, а потому все внешние проявления ее мучили меня тогда невыразимой тоской» (4, 197)

Поэтому мы можем утверждать, что в «Записках из Мертвого дома» речь идет не столько об острожной жизни, сколько о процессе ее осмысления представителем русской интеллигенции. Иначе не совсем понятно, почему первые месяцы проживания в остроге занимают две трети книги, в то время как на остальные годы рассказчик едва обращает внимание «Дальнейшие годы как-то стерлись в моей памяти. Многие обстоятельства, я убежден в этом, совсем забыты мною. Я помню, например, что все эти годы, в сущности один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо» (4, 220)

Скоро ему становится ясной огромная разница между социальными слоями — между дворянами и мужиками «всякий из новоприбывающих в острог через два часа по прибытии становится таким же, как и все другие, становится *у себя дома*, таким же равноправным хозяином в острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен, и сам всех понимает, всем знаком, и все считают его *за своего*. Не то с *благородным*, с дворянином () Он не друг и не товарищ, и хоть и достигнет он наконец, с годами, того, что его обижать не будут, но все-таки он будет не свой, и вечно, мучительно будет сознавать свое отчуждение и одиночество () Ничего нет ужаснее как жить не в своей среде» (4, 198) ⁶

Чужой всегда останется чужим «В первый раз теперь одна мысль, уже давно неясно во мне шевелившаяся и меня преследовавшая, разъяснилась мне окончательно, и я вдруг понял то, о чем до сих пор плохо догадывался. Я понял, что меня никогда не примут в то-

⁶ Зиммель пишет «В каком-либо кругу, принадлежность к которому основана на общности профессии или интересов, каждый его член видит другого не чисто эмпирически, но на основе некоего априори, которое этот круг навязывает каждому участвующему в нем сознанию. Среди офицеров, церковных верующих чиновников, ученых, членов семьи каждый видит другого, предполагая как само собой разумеющееся это — член моего круга () То же, конечно, можно сказать и о взаимоотношениях членов различных кругов. Штатский, который знакомится с офицером, никак не может освободиться от мысли, что этот индивид — офицер» (Зиммель Г. Избранное. С. 514—515)

варищество, будь я разарестант, хоть на веки вечные, хоть особого отделения» (4, 207)

И что главное! Это чувство отчуждения останется и в его новой жизни после каторги « и как грустно мне было теперь на деле сознавать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным. Надо было привыкать к новому, знакомиться с новым поколеньем» (4, 229)

Можно спросить, насколько это отчуждение мешало Достоевскому понять положение русской интеллигенции после его выхода из каторги. Ведь он тоже был чужаком, когда вернулся в Петербург. Но это к слову.

Есть еще один важный момент — попытка рассказчика подводить заключенных под разряды, классифицировать. Эта попытка подтверждает положение героя как чужака — именно объективность и дистанцированность, по Зиммелю, характеризуют чужака. Только эта дистанция и эта объективность чужака способствуют формальному познанию и описанию другой социальной среды. Зиммель, отмечая невозможность достичь совершенного знания индивидуальности Другого, подчеркивает: «Мы представляем себе каждого человека (а это имеет особые последствия для нашего практического, соотнесенного с ним поведения) как тип, к которому он принадлежит в силу своей индивидуальности, мы мысленно подводим его наряду со всей его единичностью под некую всеобщую категорию, причем, конечно, человек не полностью охватывается ею, а она не полностью охватывается им, последнее отличает это отношение от отношения между общим понятием и частью его объема. В процессе познания человека мы видим в нем не чистую индивидуальность, но то, как его поддерживает, возвышает или же унижает тот всеобщий тип, к которому мы его причисляем»⁷ Итак, Достоевский — или рассказчик — ищет типы, чтобы познать мир, а здесь находится целая теория познания. Как познать общество? Методами точной науки или особым способом, который заключается в осмыслении его специфичности? С социологической точки зрения мы видим, что Достоевский склонен ко второму варианту, и это имеет место именно в то время, когда только что родившаяся социология и литературный реалистический канон находились под влиянием позитивизма.

⁷ Там же С. 513—514